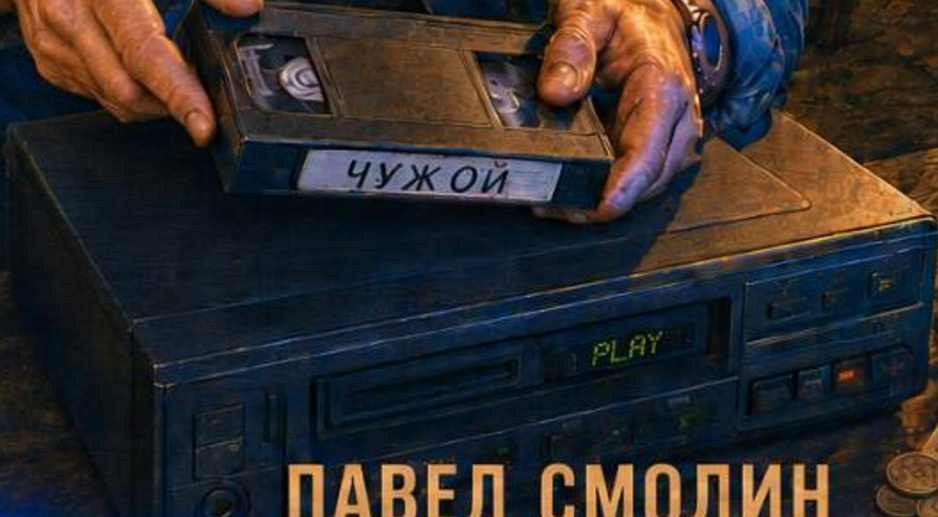


ВИДЕОСАЛОН 1986



ПАВЕЛ СМОЛИН

Видеосалон

Павел Смолин

Видеосалон 1986

«Автор»

2026

Смолин П.

Видеосалон 1986 / П. Смолин — «Автор», 2026 — (Видеосалон)

Я умер в собственном кабинете, разругавшись из-за «Оскара», а очнулся двадцатитрёхлетним, в октябре 1986-го, в маминой квартире. С мамой. За плечами — тридцать лет кинопроката и полтора десятка залов. Впереди — завод, стипендия сорок рублей и город на четыреста двадцать тысяч человек, где кино показывают в чужих квартирах: телевизор в углу, звук кашей, переводчик отстал на первой минуте. А люди всё равно сидят так, будто их держат за грудки. Мне нужны видеомагнитофон, комната и двадцать восемь стульев. Остальное я умею.

© Смолин П., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	12
Г	18
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Павел Смолин

Видеосалон 1986

Глава 1

За окном кабинета звенела капель и неохотно таяли почерневшие сугробы – середина марта – а я разбирался с креслом.

Третий зал, семнадцатый ряд, четвёртое место. Скрипит, сволочь. Жаловались третью неделю, поставщик отвечал, что скрип неисправностью не является и в гарантию не входит.

Я как раз дописывал ему, что в кинозале скрип является худшей формой брака.

Костя вошёл без стука — он всегда входил без стука.

— Ну всё, Андрей Викторович. Пролетели ваши.

— Кто?

— «Грешники». Главный отдали «Битве за битвой».

Я положил телефон экраном вниз.

— Шестнадцать номинаций, — удивленно ответил я.

— Ну да. Четыре взяли.

— Шестнадцать. Такого не было ни разу за сто лет. У «Титаника» четырнадцать. У «Ла-Ла Ленда» четырнадцать.

— Так четыре же дали.

— Четыре — это утешительные.

Костя пожал плечами и сказал, что это всего лишь премия и что вообще-то фильм хороший.

Вот тут меня и повело.

Я встал и зачем-то взял со стола бутылку с водой.

— Зал уже проголосовал, — скрутил пробку. — Ногами. По два и по три раза. У нас в мае на «Грешниках» приставные стулья ставили, во всех четырёх городах. Такого не было со времён «Сумерек».

— Так «Битва» тоже хорошая.

— «Битву» я смотрел. Полтора часа человек с умным лицом объясняет мне что-то про Америку.

— Ну так это же...

— Ко мне в зал приходят не за тем, чтобы им объясняли что-то про Америку. Чего мы о ней не знаем, Костя? Американцы давным-давно всё про себя рассказали.

Костя попросил меня сесть и что-то про мое лицо.

Я не сел.

Мне и правда стало жарко. Потом жарко стало как-то не так — не сверху, а изнутри, из-под грудины, и полезло в левое плечо. Бутылка стукнулась о стол, полилась вода.

Дальше был ковролин, очень близко, вплотную. Серый, в мелкую крапинку. Из фойе тянуло попкорном, сладким, потому что днём сладкий берут лучше солёного.

Я успел подумать про кресло. Что менять его всё-таки придётся.

Потом выключили свет.

Я проснулся от запаха.

Полежал с закрытыми глазами, разбирая его на части. Фенол. Пластификатор. Сверху что-то сладковатое, почти съедобное, и от этого противное вдвойне.

Так пахнет линолеум, когда рулон только раскатали по полу и полдня держат открытой форточку.

Мать двадцать лет отработала мастером ОТК на комбинате искусственных кож и плёночных материалов. Запах не выстирывался ничем. Он жил в её кофте, в волосах, в полотенце, в подушке и в кухонной клеёнке — клеёнку делали там же, через два цеха от неё.

Я открыл глаза.

Потолок был белёный, с трещиной от угла к люстре. Обои в мелкий ромбик. Шкаф с зеркальной дверцей, у которой снизу отбилась амальгама. Над столом фотография отца в форме, увеличенная с маленькой и оттого мягкая, будто снятая через марлю.

Комнату я узнал раньше, чем успел удивиться.

Потом полежал ещё немного и заметил вторую вещь.

У меня ничего не болело.

Ни колено. Ни спина, которая обычно давала о себе знать первой, ещё до того, как я вставал. Ничего вообще. Тело лежало ровно и легко, как пустое.

Я поднял руку и посмотрел на неё. Рука была двадцатитрёхлетняя.

Я встал и подошёл к шкафу. В той части зеркала, где ещё держалась амальгама, стоял парень. Худой, ключицы наружу, волосы с одной стороны примяты. На подбородке прыщ. Майка, семейные трусы, длинная шея.

Лицо я знал по фотографиям. Своим собственным я его не считал уже очень давно.

Я потрогал подбородок. Прыщ был настоящий.

Я сматерился от удивления. Голос тоже был не тот. Выше и чище, без песка.

За стеной на кухне звякнула крышка, зашумела вода, и радиоточка бодрым мужским голосом начала рассказывать что-то про уборочную в южных областях.

Решив перестать удивляться, я пошел на кухню.

Мать стояла у плиты, спиной ко мне, в халате поверх кофты.

— Встал, — сказала она, не оборачиваясь. — Яичница в сковородке. Чай наливай, заварку не гоняй, я утром свежую сделала.

Я сел на табурет. Клеёнка на столе была новая, в жёлтых подсолнухах, и по краю уже начала темнеть.

Ей было сорок пять. Она стояла ко мне спиной, переворачивала что-то на сковороде, и по тому, как она держала локоть, я видел, что правое плечо у неё сегодня тянет и что она об этом никому не скажет.

Я очень давно не видел её такой.

Она поставила передо мной сковородку прямо на подставку и наконец посмотрела.

— Ты чего?

— Ничего.

— Смотришь как чужой.

Я взял вилку. Дальше надо было есть яичницу и не палиться. Про то, что я не знаю, какое сегодня число, что я не помню, где у меня зачётка, и что в голове у меня сидит человек, который сильно старше своей матери, ей знать было незачем.

— Завтра в вечер? — спросила она.

— Завтра.

— Не проспай, как в тот раз. Мастер твою фамилию запомнит.

Я это уже слышал. Не что-то похожее, а именно это, этими словами, за этим столом, с этой сковородкой. И следующее я тоже знал.

— Ты, главное, институт не запусти, — сказала она. — Кино кино, а диплом чтоб был.

Насчёт кино она говорила про то, что я вечно таскался в «Родину» и мог два сеанса подряд отсидеть на одном билете.

— Будет диплом.

Был уже, мам.

— Вот и хорошо.

Она сняла халат, надела пальто, взяла авоську с крючка у двери.

— Суп в холодильнике. Разогреешь — плиту выключи, а то в тот раз.

— Выключу.

Дверь хлопнула. По лестнице простучали каблуки, потом стало тихо.

Мама жива.

Я сидел с вилкой и слушал, как в трубе шумит вода у соседей.

На стене у окна висел отрывной календарь. Я встал и подошёл.

«14 октября 1986 г. Вторник».

На обороте листка мелким шрифтом объяснялось, как выводить пятна от ягод: разложить ткань над тазом и лить кипяток с высоты полуметра.

Я прочитал это два раза. Не потому, что боялся пятен от ягод, а потому, что надо было чем-то занять руки и голову ещё секунд тридцать.

Потом открыл холодильник «Саратов». Маргарин, три яйца, кастрюля с супом, банка кильки в томате, начатая. В дверце — бутылка молока с серебристой крышкой из фольги.

Молоко было с комбината. Его выдавали за вредность, по пол-литра за смену, и мать половину приносила домой.

Я закрыл холодильник и пошёл одеваться.

Во дворе пахло мокрой листвой, дымом, скорой зимой и чуть-чуть помойкой.

Наш дом стоял в старом центре: два этажа, деревянный верх, кирпичный низ, четыре подъезда, дровяные сараи вдоль забора. Дрова там давно никто не держал, хранили хлам — кроме деда Игнатьева, который держал в своём мотоцикл без колеса.

На верёвках висело бельё. Под верёвками, на перевернутом ящике, сидели двое пацанов лет по восемь и стучали друг по дружке крышками от кастрюль и палками, играя в рыцарей.

Из третьего подъезда вышел сосед Толик, посмотрел на небо, посмотрел на меня.

— Здоров.

— Здоров.

— Слышь, у тебя ключа на семнадцать нет?

— Нет.

— Херово, — вздохнул Толик и пошёл обратно.

Толик работал на машзаводе в кузнечном. Я знал про Толика довольно много.

Я вышел со двора на улицу и пошёл пешком, хотя мог сесть на троллейбус за четыре копейки.

В сердце сладко щемило, и я хотел посмотреть.

Город. Деревянные двухэтажки с наличниками, водосточные трубы, крашенные в тот же синий, что и штакетник, гастроном с очередью на восемь человек у окошка «Молоко», доска «Лучшие люди района» с выгоревшими до одинаковой рыжины лицами. Мужик в кепке вёл велосипед с привязанным к раме мешком картошки. Пахло углём.

По улице Советской я дошёл до «Родины».

На фасаде висел щит: «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ», красным по синему, и матрос в тельняшке, нарисованный так, будто художник рисовал его по памяти с чужих слов.

Сеансы: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00.

У кассы стояли люди. Я посчитал.

Двадцать шесть человек на двенадцатичасовой. Зал в «Родине» на четыреста восемьдесят мест.

Считал я машинально, как чешут нос. Двадцать лет считал очереди и двадцать лет не мог перестать.

Сбоку от кассы, на стекле изнутри, был приклеен листок, написанный от руки чернилами, аккуратным старым почерком:

Киноклуб. Второй четверг месяца, 18.30, малый зал. «Земляничная поляна», реж. И. Бергман. Вступительное слово и обсуждение. Чай.

Я постоял, почитал и подумал о том, что обсуждать фильм, не имея его самого - особая форма досуга.

Потом посмотрел на часы и пошёл в институт, потому что лекция была в десять сорок, а опаздывать в первый день второй жизни мне показалось глупым.

В политехе пахло мастикой, мокрыми пальто и столовой одновременно.

Гардеробщица тётя Зина взяла у меня куртку не глядя и швырнула номерок. Я поднялся на третий этаж и по дороге понял, что не помню, какая аудитория.

Меня спас поток. Он шёл сам, толпой. Я пошёл вместе с ним, толпа внесла меня в двести двенадцатую, и это оказалось правильно.

«Детали машин». Доцент Севрюгин, маленький, в костюме табачного цвета, писал на доске мелом, ломая его каждые тридцать секунд.

Я открыл конспект.

Почерк был мой. Больше в этом конспекте моего не было ничего. Схема с валом, подшипниками и стрелками, под ней формула, под формулой приписка на полях: «спросить у Севрюгина про допуск!!!»

Я смотрел на эту приписку и пытался вспомнить хоть что-нибудь про допуск.

Не вспомнил.

До диплома было полтора года. Полтора года валов, подшипников, а потом распределение на машзавод, где я потом двадцать пять лет должен был расти от инженера до старшего инженера.

— Андрюх.

Юрка Пименов сидел справа, скрючившись над тетрадью, и списывал у меня прошлую лекцию, потому что прошлую он проспал.

— Ты чего смурной?

— Не выспался.

— А, — Юрка перевернул страницу. — Слышь, у тебя рубль есть?

— Есть.

— Вечером у Палыча видак.

Я поднял голову.

— Какой Палыч?

— Ну Валерий Палыч, зубной. С Черёмушек, тётки моей сосед. У него аппарат, он пускает по рублю. Вчера был, сегодня опять привёз, — Юрка понизил голос до шёпота, хотя Севрюгин был глухой на левое ухо. — Американский. Про негра-мента. Наши все ржали, аж стены тряслись.

— Какая копия?

Юрка посмотрел на меня.

— Чего?

— Ничего, — одернул себя я.

— Так пойдёшь?

— Пойду.

В столовой я взял комплексный за сорок пять копеек: щи, котлета с макаронами, компот, два хлеба. Ел и смотрел по сторонам.

За соседним столом сидел Женька Соловьёв с нашего потока, живой, рыжий, с обгрызенной ручкой в кармане, и рассказывал что-то, размахивая вилкой.

Я смотрел на него дольше, чем нужно, и он это заметил и помахал мне вилкой.

Я помахал в ответ и уткнулся в щи.

Про людей вокруг я знал слишком много, и с этим надо было что-то делать. Двадцатитрёхлетний парень смотрит на однокурсника, как на однокурсника. Это, оказывается, требует усилия.

И разговаривал я утром с Юркой не как с Юркой. Я разговаривал с ним, как разговаривают с молодым, который в третий раз просит подменить: спокойно, коротко и чуть сверху. Юрка не заметил. Юрка вообще мало что замечает.

Но так было нельзя.

Надо было вспоминать, как это делается. Как сидят на лекции, когда тебе двадцать три. Как ржут в столовой. Как говорят «слышь». Тело всё умело само, голова — нет, и стык между ними я чувствовал постоянно.

Я доел, отнёс поднос и до вечера просидел на лабораторных, где от меня требовалось крутить рукоятку и записывать показания. С этим я справился.

До Черёмушек мы с Юркой ехали в набитом битком двенадцатом автобусе двадцать минут. Юрка всю дорогу пересказывал вчерашнее и испортил бы мне весь фильм, если бы я не знал его наизусть.

Пятиэтажки стояли поперёк ветра, между ними были пустыри, вытоптанные до глины, и на каждом пустыре кто-то во что-то играл.

В подъезде пахло кошками и жареным луком. Дверь на четвёртом была обита коричневым дерматином, ромбиками, с гвоздиками по стыкам.

Открыл сам Валерий Палыч: лет сорок пять, в трениках с вытянутыми коленями, в тапках на босу ногу, с животом и с очень довольным лицом.

— По рублю, — заявил он вместо здравсье.

В прихожей на трюмо стояла коробка из-под конфет «Ассорти». В ней лежали рубли.

Я положил свой. Юрка положил свой и пошёл занимать диван, потому что вчера уже понял, откуда видно.

В комнате нас стало четырнадцать. Я посчитал по головам, пока раздевался, и посчитал ещё раз, когда сел. Шестеро на стульях, принесённых с кухни и от соседей, четверо на диване, трое на полу у батареи, один на подоконнике.

Стенка румынская, в стенке хрусталь. Ковёр на стене. На другой стене — второй ковёр. Пахло ужином и «Шипром». Телевизор «Горизонт», шестьдесят один сантиметр, стоял в углу на тумбочке, а тумбочка была развёрнута так, что трое у батареи смотрели на экран сбоку, под таким углом, что картинка для них должна была уехать в белёсое.

Под телевизором стояла «Электроника ВМ-12».

— По записи брал, — небрежно поделился с пространством Валерий Палыч. — Через свояка. Восемь месяцев ждал и двести сверху дал. Тысяча четырёста, считай.

Комната уважительно погудела.

Он вставил кассету. Аппарат сожрал её с утробным звуком, экран пошёл рябью, и по нему поехали чужие титры задом наперёд.

Кассета была не перемотана.

Перемотка шла одиннадцать минут. Я засёк. Четырнадцать человек сидели и ждали. Курили в форточку — на кухне, потому что в гостиной Валерий Палыч запретил. Мужик с подоконника рассказывал, как в прошлом году в Ялте видел цветной видеомагнитофон, и никто ему не сказал, что видеомагнитофоны все цветные.

Начали в двадцать сорок.

Валерий Палыч встал перед телевизором, заслонив его собой, и торжественно объявил:

— «Полицейский Беверли Хилз». Это фамилия у него такая — Беверли Хилз.

Я открыл рот и закрыл — что тут скажешь?

Он сел. Пошёл фильм.

Копия была шестая, если не седьмая. Лица плыли. Цвет уехал в зелень, и Эдди Мёрфи был скорее болотный. По низу кадра шла дрожащая полоса, которая иногда поднималась до середины и уходила обратно. Звук шёл кашей из динамика телевизора, и поверх каши гундосил переводчик, отставая на полторы секунды и половину реплик пропуская вообще.

Комната смотрела не отрываясь.

Я сидел с краю на кухонном табурете и смотрел на комнату.

Смеялись они на две секунды позже, чем надо. Не над тем, что происходило на экране, а над тем, что сказал переводчик — а он говорил уже поверх следующей сцены, так что смех приходился на чужие кадры. Юрка ржал громче всех и всегда невпопад.

Один раз переводчик замолчал секунд на сорок. Совсем. Мужик на экране говорил, размахивал руками, злился, ему отвечали — тишина, только гудение.

Никто не шелохнулся. Все смотрели дальше, как будто так и надо.

Потом на экране появился отель.

Герой шёл через холл, и мимо шли люди с чемоданами, и за стойкой стоял портье, и в кадре, в глубине, между колоннами, была витрина, а в витрине что-то лежало.

И вот тут комната изменилась.

Она не ахнула и не загудела. Она стала тише. Я почувствовал это спиной, как чувствуют, когда сзади кто-то перестал дышать.

Половина людей смотрела не на героя. Половина смотрела в углы кадра.

Женщина у батареи спросила негромко, ни к кому:

— А это чего у них, магазин?

Ей никто не ответил.

Потом герой ехал по улице, и улица была просто улица, снятая мимоходом, из окна машины, и никто в кадре на неё не смотрел, потому что привыкли и незачем.

Комната смотрела.

Я сидел и думал, что четырнадцать человек в чужой квартире с ковром на стене сейчас получают процентов двадцать от того, что здесь вообще есть. Экран в углу. Звук в кашу. Переводчик, который отстал ещё на первой минуте и уже не догонит. Картинка шестого поколения.

Двадцать процентов — и они сидят так, как сидят, когда боятся, что отберут.

Кассета кончилась. Валерий Палыч включил свет и стал моргать.

Комната зашевелилась, загудела, начала пересказывать друг другу то, что все только что видели.

Пацан лет шестнадцати, сидевший на полу, повернулся ко мне — просто потому, что я был ближе всех:

— Слышь, а чего он ему сказал-то? Ну там, в конце, когда с пистолетом. Переводчик молчал.

Я сказал, что он ему сказал.

Пацан подумал.

— А до этого? Где они в грузовике?

Я сказал и это.

Стало заметно тише. Человека четыре развернулись в мою сторону.

— Ты чего, смотрел уже? — спросил Валерий Палыч.

Голос у него был не злой, но и не сказать что радостный. Он стоял у своего аппарата, за который отдал тысячу четыреста и ждал восемь месяцев, и в его комнате внезапно говорил не он.

— Смотрел, — признался я.

— Где?

— У знакомых.

Он посмотрел на меня ещё секунду и решил, что это неважно.

— Так, товарищи. Сейчас перематываем — и по второму кругу. Кто остаётся — ещё по рублю.

Осталось двенадцать. Смотреть то же самое, в том же ужасающем качестве, сейчас же, ещё раз.

— Ты чего? — спросил Юрка, устраиваясь обратно на диване. — Сейчас же ещё раз будет.

— Мне завтра в вечер.

Юрка посмотрел на меня как на человека, который уходит из-за стола, где дают добавку.

Вприхожей я оделся. На трюмо стояла коробка из-под «Ассорти», и в ней поверх старых рублей уже лежали новые.

Двадцать шесть за вечер, если по второму кругу остаётся дюжина. Шесть вечеров в неделю — сто пятьдесят с лишним. Мать на комбинате получала сто сорок и приносила домой запах, который не выстирывался.

Я закрыл за собой дверь.

На улице было темно, мокро и ветрено. Автобуса я ждать не стал, пошёл пешком, поднял воротник и сунул руки в карманы.

Дело было не в двадцати шести рублях. Дело было в том, как эти четырнадцать человек сидели.

Их посадили в угол, под углом, с кашей вместо звука, с гундосым мужиком, который отстал и не догнал — и они всё равно сидели так, будто их держат за грудки. А двенадцать остались смотреть то же самое ещё раз, немедленно, за второй рубль.

Я знал, что бывает, когда всё сделано правильно. Я знал, как ставится экран, во сколько начинать, почему в семь идёт лучше, чем в восемь, зачем перематывать заранее и что бывает с залом, когда переводчик держит паузу там, где надо держать паузу.

Никто в этом городе этого не знал. Ни Валерий Палыч со своей коробкой из-под конфет, ни те, кто крутил то же самое в других квартирах и красных уголках, ни, тем более, четыре-ста восемьдесят мест кинотеатра «Родина», где на двенадцатичасовой стояло двадцать шесть человек.

Однажды я уже уволился с завода и начал показывать людям кино. У меня получалось — в отличие от многих полупустых шаражек, моя сеть всегда была битком. Секрет прост — надо просто показывать людям то, что они хотят, а хотят они, как ни странно, интересную историю. «Интересность» здесь доверено определять самому зрителю, который голосует за фильм самым дорогим, что у него есть — временем.

Мне нужен был аппарат. Аппарата не было. Комнаты не было. Денег не было тоже.

Я дошёл до дома в двенадцатом часу.

На кухне горел свет. Мать сидела за столом в кофте, перед ней был чай.

— Ты где был?

— В кино.

— Где — в кино? Ночь на дворе.

— У знакомых.

Она посмотрела на меня своим взглядом мастера ОТК, который двадцать лет отличает брак от не брака.

— Ешь суп, — велела она наконец и пошла спать.

Я разогрел суп, выключил плиту, сел под жёлтые подсолнухи на клеёнке, сорвал с календаря сегодняшний листок и достал из ящика огрызок карандаша.

Считать было особо нечего.

Я всё равно начал.

Глава 2

Столбик получился короткий. Я писал на обороте вчерашнего календарного листка, поверх советов про ягодные пятна, огрызком карандаша, который нашёлся в ящике вместе с шурупами, катушкой ниток и запасным ключом от сарая.

Сто семнадцать рублей — сберкнижка. Точную цифру я не помнил, но она была где-то там. Тридцать пять — наличными. Три десятки и пятёрка, заложенные в третий том Куприна на полке, потому что Куприна в этом доме не открывал никто, включая меня.

Стипендия — сорок. Приходит десятого.

Завод — девяносто с чем-то, приходит пятого и двадцатого.

Я подчеркнул и посмотрел на сумму.

Потом снизу, отдельно, написал вторую цифру.

Тысяча двести.

Между этими двумя числами лежала вся моя биография на ближайшие годы, и она мне не нравилась.

Я перевернул листок обратной стороной. Там было четырнадцатое октября и совет лить кипяток с высоты полуметра.

Спать я лёг в половине второго.

Мать ушла в семь. Я слышал, как она гремела в прихожей и как хлопнула дверь, а потом ещё минут двадцать лежал и смотрел в потолок, в трещину, которая на середине раздваивалась.

Потом встал и вытащил из-под кровати свой чемодан.

Чемодан был фибровый, коричневый, с металлическими уголками, и я его помнил лучше, чем собственную зачётку.

Я вывалил всё на пол и разложил.

Парадка. Шинель отдельно, в шкафу. Аксельбант, который я сам плёл три вечера. Значки: гвардейский, классность, «Отличник Советской Армии», ещё какие-то. Ремень с бляхой, тёртой об асфальт до зеркала. Хромовые сапоги, надетые ровно один раз, в день приказа.

Фотоаппарат «Зенит-ЕТ» с «Гелиосом», в кожаном футляре. Часы «Полёт», позолота на кнопке протёрлась.

Дембельский альбом.

Я открыл его на середине. С разворота на меня смотрели одиннадцать человек в расстёгнутых кителях, и все они были очень молодые. Я — второй слева.

Я закрыл альбом и положил обратно в чемодан. За него всё равно никто ничего не даст.

Под альбомом лежала пачка писем, перетянутая резинкой от бигудей. Материнских — обратный адрес её почерком, по два в месяц, ни одного пропуска за два года. Я подержал пачку в руках и убрал следом за альбомом.

Остальное я оценил.

«Зенит» — семьдесят, если найти студента с первого курса, у которого родители дадут денег на фотодело. Часы — сорок, а скорее тридцать. Сапоги хорошие, за них дадут четвертной. Парадку возьмут в театральный кружок за пятнадцать, и то если повезёт. Значки — рубль штука, и это не деньги, а разговор.

Сто пятьдесят. Если продавать не спеша и не первому встречному.

Я сложил всё обратно.

Сто семнадцать плюс тридцать пять плюс сто пятьдесят — это триста два рубля, из которых сто пятьдесят ещё нужно превратить в деньги, а на это уйдёт месяц.

До «Электроники» оставалось девятьсот.

На первой паре я сидел у окна и писал в конспекте столбики.

По тридцать рублей в месяц — три года и четыре месяца. Тридцать в месяц я не отложу: кушать и хоть как-то одеваться тоже нужно.

По пятнадцать — шесть лет восемь месяцев.

За шесть лет восемь месяцев «Электроника» перестанет быть дефицитом, а я перестану быть двадцатитрёхлетним.

Севрюгин что-то диктовал про подшипники качения.

Юрку я нашёл на перемене в курилке под лестницей.

— Слышь. Много у нас в городе таких, как твой Палыч?

— В смысле?

— С аппаратами. Кто пускает за деньги.

Юрка обрадовался. Это был вопрос как раз того сорта, на которые он любил отвечать, — не про подшипники, а про жизнь.

Он загибал пальцы.

— Палыч - раз.

— Дальше.

— На Октябрьской мужик один. Гриша. Не квартира, там помещение при общежитии, красный уголок ихний, он с комендантшей договорился. У него аппарат японский и телевизор — во, — Юрка развёл руками на добротную плазму. — Только переводчик у него гундосый, ни хрена не разобрать, я один раз был и больше не пойду. Два.

— Дальше.

— В общежитии стройфака Витёк с пятого курса, но у него не для всех, у него для своих и для девок. Три. В военной городке у офицеров, туда вообще не попадёшь. Четыре, — он подумал. — Ещё, говорят, на Заречной один. Тоже вроде зубной. Пятый.

— А че они все зубные-то?

— А у кого ещё деньги? — удивился Юрка.

— И всё?

— А сколько тебе надо?

Я не ответил.

Шесть точек, если считать вместе с теми, о которых Юрка не слышал. Пусть восемь. Пусть даже десять.

По четырнадцать человек через вечер. Значит, весь городской видеопрокат — это человек триста-четыреста в неделю.

Четыреста двадцать тысяч жителей. В одной только «Родине» четыреста восемьдесят мест и шесть сеансов в день.

— А кассеты где берут? — спросил я.

— Ну где. У Славы на рынке. Или в Москву едут.

— Слава — это кто?

— Слава — это Слава, — округлил на меня глаза Юрка. — У него батя в торге. Он тебе что хочешь достанет, только дорого.

— Сколько дорого?

— Чистая — полтинник. С фильмом — сотня. Хорошая, свежая — полторы.

Я присвистнул.

— За кассету?

— За кассету. А ты думал.

Я стоял и складывал.

Аппарат — тысяча двести. Это только вход, только чтобы тебя пустили за стол. Дальше начинается настоящее: кассеты по сотне, и одной кассеты хватает на неделю, потому что на второй неделе на неё уже никто не пойдёт.

Значит, нужен не аппарат. Нужен аппарат плюс оборот плюс кассеты. Плюс телевизор. Плюс помещение.

— Тебе зачем? — спросил Юрка.

— Интересно.

— Ты чего задумал-то?

— Ничего.

Прозвенел звонок.

— Пошли, — сказал Юрка. — Севрюгин отмечает.

— Иди.

После второй пары я взял куртку и ушёл с дальнейших, чего за четыре курса не делал ни разу.

В сберкассе на Советской пахло сургучом. Я отстоял восемь человек. Впереди бабка платила за квартиру и спорила про копейки, за ней мужчина оформлял перевод.

Девушка в окошке взяла книжку, посмотрела, поставила штампик.

— Сто семнадцать сорок три.

Я забрал книжку и отошёл к подоконнику.

Записи шли с восьмьдесят четвёртого. Пять рублей, десять, пять, восемь. В апреле восьмьдесят пятого — двадцать пять, это была премия. В августе — двенадцать.

Два года. По пятёрке в месяц, аккуратно, ни разу не сняв.

Человек, который это делал — я! — был неплохой человек. Он просто не знал, сколько стоит то, что ему нужно. Точнее — не знал, что именно ему нужно.

Проценты по вкладу до востребования — два годовых. За два года набежало три рубля с копейками.

Я положил книжку в карман и пошёл в комиссионный.

Комиссионный был на углу Ленина и Куйбышева, в первом этаже дома с лепниной, и пах нафталином, пылью и чужими духами. Ковры висели на кронштейнах. На витрине стояли: приёмник «Грюндиг», магнитофон «Шарп» с двумя кассетниками, чей-то фарфор, шуба на плечиках, швейная машинка «Зингер» с ножным приводом.

Под стеклом, на отдельной полке, за замком, стоял он.

Чёрный. Плоский. Приземистый. Спереди — крышка загрузки и ряд клавиш, справа — окошко счётчика. Никаких надписей на русском.

Ценник был напечатан на машинке и заверен печатью:

«Видеомагнитофон кассетный «Панасоник», блу, комплект. 4500 руб».

Машина.

У витрины стояли трое.

Мужик в кроличьей шапке, женщина с сумкой и пацан лет пятнадцати, который прилип носом к стеклу.

— Кому он нужен за такие деньги, — сморщился на чудо техники мужик в шапке.

Никто не ответил. Он постоял ещё минуту и не ушёл.

Я тоже не ушёл. Мы стояли впятером и смотрели на чёрную коробку. Четыре с половиной тысячи. Тридцать две материнских зарплаты. Тридцать две смены по восемь часов, помноженные на тридцать два месяца, и всё это — за коробку размером с небольшой чемодан.

Продавщица за прилавком раскладывала квитанции.

— Простите, — позвал я. — А по нему какая система?

Она подняла голову.

— В смысле?

— Система цветности. ПАЛ или СЕКАМ.

— Молодой человек, тут написано: видеоманитофон кассетный, комплект, четыре пять-сот.

— Я про то, что если он ПАЛ, то на нашем телевизоре будет чёрно-белое. Нужен декодер. Она посмотрела на меня так, как смотрят на человека, который в очереди за колбасой спрашивает про содержание белка.

Из подсобки вышел заведующий, полный, в нарукавниках.

— Чего у вас?

— Спрашивают про какую-то систему.

Заведующий посмотрел на меня, потом на витрину, потом опять на меня.

— Берут же, — отрекомендовал «Панасоник» он.

— Кто берёт?

— Ну... — Он подумал. — Спрашивают.

— Он давно стоит?

— Третий месяц.

— А «комплект» — это что?

Заведующий вздохнул, отпер витрину и достал картонную коробку. В коробке лежали шнур, пульт на проводе и три кассеты в мягких футлярах.

Две были фирменные, запечатанные. На третьей поверх наклейки шла надпись от руки, шариковой ручкой, не по-русски и не по-английски. Немецкое что-то.

— Записи какие-то, — не помог заведующий и с явным сожалением добавил. — Мы не смотрели, у нас смотреть не на чем.

Объяснение такому хорошему для СССР сервису нашлось — заведующему было интересно лишний раз потрогать видеоманитофон.

— А кто сдал, если не секрет?

— Не секрет. Военный сдавал. Из Германии вернулся, привёз оттуда, а теперь, значит, деньги понадобились.

— Он в городе?

— В городе, где ж ему быть, — заведующий аккуратно закрывал витрину. — Их у нас тут знаешь сколько, из Германии? Целый гарнизон вернулся в прошлом году, все с барахлом. Ковры одни, ковры, ковры. Прямо хоть не бери.

Я поблагодарил и отошёл.

Ковры я пропустил мимо ушей, а гарнизон запомнил.

Третий месяц. Значит, никто не берёт. Значит, в городе на четыреста двадцать тысяч человек нет никого, кто хотел бы потратить четыре с половиной тысячи на черную коробку.

Пусть стоит.

Пацан всё ещё дышал на стекло. Я вышел на улицу.

Проходную я прошёл в половине третьего, за полтора часа до смены.

Завком был на втором этаже административного корпуса, в конце коридора, где стены до пояса покрашены зелёным.

В комнате сидели три женщины и печатала одна.

— Здравствуйте. Мне бы насчёт очереди на видеоманитофон.

Печатать перестали.

— На что?

— На видеоманитофон. «Электроника ВМ-12». Они же по предприятиям распределяются.

Ближняя женщина отложила ручку.

— Списками на бытовую технику Зинаида Фёдоровна занимается.

— А она где?

— Она по вторникам.

Я посмотрел на стену. На стене висел календарь, а с него на меня ехидно взирала среда.
— А сегодня?

— А сегодня среда, — сказала женщина и, что было хуже всего, в её голосе не было ни капли издёвки.

Но списки она мне всё-таки достала. Не потому, что я её уговорил, а потому что ей было скучно, а я оказался свой: моя фамилия нашлась у неё в приказах о приёме, июнь текущего года.

Список на видеоманитофоны был отпечатан через копирку и шёл на двух листах.

Шестьдесят один человек.

— А приходит сколько?

— В прошлом году три. В этом две пока.

Три в год. Шестьдесят один человек.

Я посчитал.

— Двадцать лет, — сказал я вслух.

— Ну а вы как хотели? — умилилась моей простоте женщина. — И потом, вам туда рано. Там стаж от трёх лет и ходатайство от цеха. У вас сколько?

— Четыре месяца.

— Ну вот.

Я поблагодарил и вышел в коридор с зелёными стенами.

Шестьдесят один человек в списке. Никто из них не собирался ничего показывать. Они хотели поставить его в стенку рядом с хрусталём и раз в месяц звать соседей и родственников из деревни.

Я стоял в коридоре и понимал очень простую вещь: даже если я всё сделаю правильно, честно и по правилам, аппарат я получу в две тысячи шестом году.

Смена началась в четыре.

Участок комплектации, склад готовой продукции. Пахло машинным маслом, мокрым картоном и железом. Работа была такая: детали приходят в железных ящиках, я перекладываю их в деревянную тару, прокладываю картоном, считаю, пишу мелом на торце количество и номер, ставлю в штабель.

Руки делали это сами. Тело помнило, хотя голова — нет.

Напротив работал Петрович. Пятьдесят два года, на этом участке с семидесятого, шестнадцать лет.

— Ты чего сегодня квёлый?

— Считаю.

— Чего считаешь?

— Сколько в час выходит.

Петрович хмыкнул и поставил ящик.

— И сколько?

Я посчитал ещё раз, чтоб не соврать.

Девяносто два рубля в месяц. Шестнадцать смен по восемь часов — сто двадцать восемь часов.

— Семьдесят две копейки, — сказал я.

— Ну.

— Что «ну»?

— Ну и нормально, — фыркнул Петрович. — У меня сто девяносто выходит с ночными и вредностью. Ты, парень, держись места. Место хорошее. Тёплое, крыша есть, к станку не привязан. Отучишься — на распределении тебя сюда и возьмут, а тут уже свои. Через семь лет квартиру дадут, если Ленка из жилотдела не помрёт.

Он сказал это без всякой задней мысли. Он говорил хорошее. Он говорил ровно то, что двадцать лет говорила моя мать, только другими словами и без слёз.

Я посмотрел на него.

Шестнадцать лет он стоит на своем месте и перекладывает детали из железного ящика в деревянный. Он делает это хорошо. Он знает каждую деталь, у него не бывает пересорта, и мастер его любит.

Через семь лет ему будет пятьдесят девять.

— Петрович, а ты во сколько домой приходишь?

— В первом часу. А чего?

— Ничего.

Я поставил ящик и взял следующий.

И вот тут до меня наконец дошло, что я весь день считал не то.

Дело было не в семидесяти двух копейках.

Смена шла с четырёх до двенадцати. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать.

Семь вечера. Восемь вечера.

Это были не «часы работы». Это был вечер. Тот самый и единственный, в который человек, отпахавший своё, моется, ест и идёт куда-нибудь, где что-нибудь показывают.

Всё, что я собирался делать, происходило между шестью и одиннадцатью.

Завод забирал у меня не силы и не время вообще. Он забирал ровно те часы, в которые бывает зал — и платил за них семьдесят две копейки в час.

Билет у Палыча стоил рубль.

Смена выходила в пять рублей семьдесят шесть копеек. Вчерашний вечер Палыча — в двадцать шесть.

Я стоял с ящиком в руках и думал, что свое на этом заводе я уже отработал, а считать научился уже потом.

— Фомин, ты уснул? — крикнул мастер с прохода.

— Нахер оно мне надо? — буркнул я себе под нос и поставил ящик.

Смену я дорабатывал спокойно и ровно, и даже мел не забыл вернуть на место, потому что за мел на этом участке спрашивали отдельно.

В двенадцать пробил табель, я переоделся, вышел через проходную.

Ночь была мокрая. От комбината несло в нашу сторону, значит, ветер с запада. Мамой пахнет.

Домой я пришёл в двадцать минут первого.

На кухне было темно. Из комнаты матери слышалось ровное дыхание.

Я налил себе чаю, сел и достал из кармана календарный листок с двумя цифрами.

Ни одна из них за сегодня не изменилась.

Изменилось другое: до сегодняшнего дня я думал, что мне не хватает денег. Денег мне действительно не хватало, но денег не хватает всем, и с этим живут.

Мне не хватало вечеров.

Вечера были в единственном месте, откуда их можно было забрать целиком, сразу и не спрашивая.

Я допил чай, сполоснул кружку и поставил её на сушилку доньшком вверх, как учили.

Считать было больше нечего.

Утром надо было идти в отдел кадров.

Г

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.